



Radoria Kodneus

**Почта для
потерянных
вещей**

Radoria Kodneus

Почта для потерянных вещей

«Издательские решения»

Kodneus R.

Почта для потерянных вещей / R. Kodneus — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-691694-4

На станции «Маруся» есть особая почта. Она принимает не письма, а потери: варежку, ключ от прошлого, билет на несбывшуюся жизнь. Бывший художник Лёва стал её курьером. Его миссия — возвращать не вещи, а их смысл. Исцеляя чужие раны, он собирает по кусочкам и свою разбитую душу.

ISBN 978-5-00-691694-4

© Kodneus R.
© Издательские решения

Содержание

Глава 1. Последняя остановка	6
Глава 2. Будка, которая смотрит	9
Глава 3. Возвращение тетради	13
Глава 4. Курьер принимает вызов	17
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Почта для потерянных вещей

Radoria Kodneus

© Radoria Kodneus, 2026

ISBN 978-5-0069-1694-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1. Последняя остановка

Электричка выдохнула его на перрон, как неудобный груз, и сразу, лязгая, поползла дальше в осенние сумерки. Лёва остался стоять с потрёпанным рюкзаком в руках, чувствуя, как холодный влажный воздух вокзального простора мгновенно заполняет лёгкие, вытесняя последние следы спёртого вагонного тепла.

Станция.

Она не просто называлась «Маруся». Она была ею – уставшей, немолодой, сохранившей в своих чертах следы былой строгости. Низкое кирпичное здание вокзала с закопчёнными сводами окон. Две железные печи-«буржуйки», давно не топившиеся, стояли по бокам от дверей, словно безмолвные стражи. Фонарь на покосившемся столбе освещал не светом, а скорее жёлтой мутью, в которой кружилась позолота первых опавших листьев. Главное ощущение было не в глазах, а в ноздрях: стойкий коктейль из запаха ржавого металла, влажной древесины шпал, угольной пыли и чего-то неуловимого – сладковатого запаха запустения, похожего на аромат старого чердака.

«Станция Маруся» – гласила вывеска, где буква «Я» в слове «станция» давно отвалилась. Лёва почувствовал горькую усмешку где-то внутри. Идеально. Место, где даже буквы не держатся.

Он приехал сюда не за вдохновением. Не за тишиной, которую ищут уставшие горожане. Он приехал за забвением. Чтобы его не нашли. Ни коллеги, с которыми разругался в хлам, ни друзья, чьи сочувствующие взгляды стали невыносимы, ни он сам – тот прежний Лёва, который верил, что может возвращать жизнь тому, что казалось мёртвым. Реставратор картин, золотые руки, восходящая звезда... Какой вздор. Он не восстановил последнюю работу – громкий заказ, от которого зависела репутация мастерской. Он её уничтожил. Вернее, не он – а его рука, вдруг ставшая чужой, предательски дрогнувшая в решающий момент, положившая не тот пигмент. А потом – скандал, обвинения в непрофессионализме, ледяное молчание наставника. И тихий, но окончательный приговор, который он вынес себе сам: «Твои руки больше ничего не стоят. Ты больше ничего не стоишь».

Пара дней, сказал он себе. Просто переждать. Спрятаться.

Перрон кончился тремя ступеньками в грязь. Посёлок начинался сразу, без церемоний: несколько улиц одноэтажных домов, сложенных из силикатного кирпича и тёмного дерева. Окна светились тускло, как прикрытые глаза. Лёва отыскал в памяти адрес: ул. Вокзальная, 7, комната у Агафьи Степановны. Снял по объявлению в интернете, где было лишь две строчки: «Сдам. Недорого. Тихо».

Он пошёл, и его шаги по щебню звучали неприлично громко в вечерней тишине. Прошёл мимо будки. Даже не будки – скорее, скворечника для почтальона, выкрашенного когда-то в ведомственный синий цвет. Краска облупилась пузырями, стекло в окошке было мутным. Он скользнул по ней взглядом без интереса. Ещё один атрибут умершей жизни.

Дом №7 оказался угловым, с вывеской «Кондитерская», написанной витиеватым, но потускневшим шрифтом прямо на стене. Окна первого этажа были закрыты изнутри бумажными шторами, но в щели пробивался свет и струился тёплый, невероятно плотный запах – ванили, корицы, топлёного масла и ещё чего-то сдобного, домашнего. Запах, который физически ощущался кожей, как одеяло. Лёва на мгновение застыл, противоречивые чувства борясь в нём. Это пахло детством, бабушкой, безопасностью. Всеми тем, чего у него сейчас не было и быть не могло. Ему захотелось развернуться и уйти.

Но он потянул на себя скрипучую дверь.

Колокольчик над ней звякнул агонизирующе-весёлым тоном. Внутри было мало света – одна лампочка под абажуром из жёлтых стеклярусов освещала прилавок с пустыми витринами. За ним, в клубах пара, выходящего из какой-то двери, возникла фигура.

– Лёва? – спросил низкий, хрипловатый голос.

Он кивнул, не в силах вымолвить приветствие.

Женщина вышла из пара, вытирая руки о белый, не первой свежести фартук. Агафья Степановна. Лицо – как добротная, старая кожаная сумка, со множеством складок, но крепко сшитая. Седые волосы убраны в тугой узел, но, как и предсказывало внутреннее чувство Лёвы, одна прядь выбивалась и вилась у виска. Глаза – тёмные, влажные, как сливы, – оценили его с одного взгляда. Не враждебно, но без обычной для провинции любопытной приветливости. Взгляд был констатирующим: «Да, ещё один сбежавший. Понятно».

– Комната наверху. Ключ, – она протянула тяжёлую, старомодную ключицу на колечке из бечёвки. – Туалет во дворе. Водопровод есть, горячая – бойлер, включается тут. Правила знаешь?

Он снова кивнул.

– Какие правила? – всё же спросил он, и его собственный голос показался ему сиплым от неиспользования.

– Не шуметь. Не мусорить. Не приводить никого. Пироги внизу – если хочешь, покупай. Не хочешь – как знаешь. Завтрака нет.

Она говорила, не ожидая ответа, просто озвучивая устав этого маленького государства. Потом повернулась и скрылась обратно в пару, откуда теперь доносилось громкое, размеренное стучание скалки. Разговор был окончен.

Лёва поднялся по крутой, тёмной лестнице. Ещё один ключ, уже в двери наверху. Скрип. Комната.

Она была именно такой, какой и должна была быть. Небольшая, с одним окном на улицу. Облупившиеся зелёные обои с едва угадывающимся геометрическим узором. Потолок с трещиной, расходившейся от угла, как молния на чёрном небе. Железная кровать с промятой панцирной сеткой и грубо заштопанным матрасом. Стол, табурет, платяной шкаф с зеркалом, в котором его отражение было размытым и чужим. И запах. Не корицы снизу, а свой, комнатный: пыль, старые книги, влажная штукатурка и слабый, едва уловимый аромат лаванды – возможно, от давно выброшенного саше.

Он бросил рюкзак на кровать. Сегодня он ничего не будет распаковывать. Не будет осматриваться. Он просто снимет ботинки и ляжет, уставившись в потолок, в ту самую трещину.

Но сначала он подошёл к окну. Створки были тяжёлыми, деревянными. Он распахнул одну. Холодный воздух хлынул внутрь, смешиваясь с комнатной духотой. Отсюда, со второго этажа, была видна вся Станция Маруся, как на ладони. Тёмный силуэт вокзала. Две одинокие стрелки фонарей вдоль пустого перрона. Крыши домов, утопающие в предзимнем мраке. И где-то там, на краю зрения, едва освещённая отблеском от соседнего фонаря, – та самая синяя почтовая будка. Стояла, как забытая на остановке игрушка.

Лёва облокотился о подоконник. В горле стоял ком. Он ждал, что придёт облегчение, чувство, что он сбежал, что он теперь в безопасности. Но приходила только пустота, более густая и непроглядная, чем тамошняя ночь. Он был здесь не для того, чтобы начать всё заново. Он был здесь, чтобы всё закончить. Чтобы его внутренний шум, гул самобичевания и стыда, наконец, затих в этом абсолютном, безрадостном спокойствии.

Где-то внизу, в кондитерской, перестало стучать. Теперь доносилось только тихое, мерное посапывание – возможно, сама Агафья Степановна присела отдохнуть. По путям, далеко-далеко, прошуршал товарняк, гудок его был приглушённым и тоскливым, как крик большой одинокой птицы.

Лёва закрыл глаза. Завтра. Завтра он просто будет существовать. Ходить, дышать, может быть, дойдёт до леса, который синей гривой темнел на горизонте. А послезавтра, возможно, уедет. Или нет. Неважно.

Он не знал, что пока он стоял у окна, вглядываясь в ночь, в синей будке на перроне, в её абсолютно пустом, пыльном ящике для писем, с тихим, едва слышным шелестом появился клочок промокательной бумаги. На нём не было ни марки, ни адреса. Просто три слова, выведенные карандашом, который вот-вот кончится: «Мне не хватает тебя».

Посылка для потерянного реставратора уже ждала своего курьера. Но доставка назначена была только на утро.

Глава 2. Будка, которая смотрит

Сон был беспокойным и прерывистым. Лёва просыпался от каждого скрипа половиц в старом доме, от далёкого гула магистральных поездов, звук которых, казалось, не шёл снаружи, а рождался прямо в стенах, в самой сердцевине спящего дерева. Просыпался – и тут же проваливался обратно в тягучие, бессюжетные видения: палитра, где все краски превратились в серую пыль; огромное полотно, которое он пытается закрасить, но кисть оставляет лишь царапины по грунту; чьи-то голоса, спорящие за стеной, неразборчивые, но полные холодного презрения.

Под утро, когда за окном ещё висел густой, молочный предрассветный туман, он встал. Тело ныло, как после долгой дороги, хотя он всего лишь лежал. Мозг, однако, прояснился. Наступило то самое первое «завтра», которое нужно было просто пережить.

Он спустился вниз, в пустую, тёмную кондитерскую. На прилавке уже стоял глиняный кувшин с молоком и лежал свёрток в грубой бумаге. Развернул – два рогалика, ещё тёплые, с хрустящей, рассыпающейся корочкой. Ни записки, ни цены. Просто факт: еда есть. Он взял один, отломил кусок. Вкус был на удивление сложным: не просто сладкая выпечка, а что-то с горьковатым послевкусием миндаля, оттенком цедры. Пища, в которой чувствовалась рука, знающая не только рецепт, но и одиночество утренней кухни.

Выпив молока прямо из горлышка кувшина (ему было всё равно), он вышел на крыльцо. Воздух обжёг лёгкие чистым, ледяным холодом. Туман медленно отступал, обнажая посёлок, и тот казался теперь не мрачным, а застенчивым, прикрывающим свою бедность белым покрывалом. Иней серебрил крыши, траву у заборов, ржавые рельсы. Тишина была абсолютной, звенящей. Даже его собственные шаги по промёрзшей земле звучали приглушённо, как будто мир обернул всё в вату.

И в этой тишине его ноги сами понесли его туда – на перрон. Не думал, не решал. Просто пошёл, засунув руки в карманы лёгкой куртки, которая не спасала от холода. Он шёл к будке.

При свете дня она выглядела ещё более жалкой. Синяя краска, когда-то яркая, сейчас напоминала кожу больной птицы с облезлыми перьями. Дверца, покосившись, заклинила в раме, её нижний угол врос в землю. Окошко для приёма писем – та самая дверца с щелью – было покрыто изнутри толстым слоем пыли и паутины. Но сейчас, в косых лучах восходящего солнца, Лёва заметил детали: над щелью едва читалась надпись «Почта СССР», выдавленная рельефом; крошечная полочка внутри была совсем пуста; а сама будка была не квадратной, как казалось вчера, а с едва уловимым скосом крыши, который придавал ей сходство с домиком на детском рисунке.

Он остановился в двух шагах. И почувствовал это снова – то же, что вчера вечером. Ощущение присутствия. Будка не просто стояла. Она смотрела. Своим слепым, запylённым оком-окошком она наблюдала за ним. Это было не мистическое чувство, а скорее физическое – мурашки по спине, легкое напряжение в затылке, как когда понимаешь, что за тобой следят. Он оглянулся. Перрон был пуст. Вокзал спал. В одном из домов зажегся свет – жёлтый, сонный квадрат окна.

«Глупости, – резко сказал он себе вслух. – От недосыпа и нервов. Дерево и краска».

Чтобы доказать это себе, он сделал шаг вперёд и коснулся рукой деревянной стенки. Древесина под отслоившейся краской была холодной, шершавой, абсолютно мёртвой. Никакой вибрации, никакого тепла. Просто старый, промёрзший брус. Он даже постучал костяшками пальцев – глухой, невыразительный звук. Всё. Никакой магии.

И всё же он не смог уйти сразу. Он начал ходить вокруг будки, медленно, как осматривает экспонат в музее. Сзади, у самой земли, была оторвана дощечка обшивки. Лёва присел на корточки и заглянул внутрь. Там царил темнота и пахло сырой землёй, мышиным помётом

и старой бумагой. Ничего особенного. Но в луче света, пробившемся через щель, он увидел на внутренней стороне той самой оторванной доски карандашную надпись, почти стёршуюся: «Маруся проверяла. Всё чисто. 12/ХІІ-1978».

Значит, легенда была правдой. Та самая начальница, давшая имя станции, действительно следила за порядком. Даже в почтовой будке. Какая-то нелепая, трогательная деталь в этой истории забвения.

Он выпрямился, отряхнул колени. Теперь будка казалась чуть менее чужой. Просто артефакт. Часть местного фольклора. И это присутствие, которое он чувствовал, было, наверное, всего лишь эхом памяти, вложенным в этот объект десятилетиями человеческого внимания. Как икона, хранящая тепло прикосновений верующих, даже когда вера ушла.

Эта мысль его успокоила. Он решил сделать свой утренний моцион – дойти до леса и обратно. И, уже повернувшись, на прощанье бросил взгляд на щель для писем.

И застыл.

Что-то изменилось. Вчера щель была пуста, это он помнил отчётливо. Сейчас в ней, словно язычок, торчал кусочек материала. Не бумаги. Ткани. Ярко-красной.

Лёва медленно обернулся. Сердце почему-то забилося чаще, хотя разум тут же предложил логичное объяснение: ветер. Или дети подшутили. Или это там и было всё время, просто вчера в сумерках он не разглядел.

Он подошёл ближе. Ткань была чистой, новой. Это была не тряпка. Это была детская варежка. С вышитым белым оленем, у которого один рог был чуть длиннее другого, как на всех детских рисунках. Варежка лежала в глубине ящика, аккуратно, пальчиками вниз. Она не была скомкана, не была заброшена туда небрежно. Её положили.

Лёва снова оглянулся. Ни души. Туман почти рассеялся, посёлок проснулся – где-то хлопнула калитка, залаяла собака. Но здесь, на перроне, был лишь он и будка. Он медленно, почти не дыша, протянул руку. Пальцы прошли через узкую щель (она оказалась на удивление гладкой, будто её края были отполированы тысячами конвертов). Он коснулся шерсти. Она была мягкой, сухой и на удивление тёплой, как будто её только что сняли с руки.

Он вытащил варежку. Она была одинокой. Второй не было. К манжете был привязан грубый бечёвочный шпегат, а к нему прикручен маленький, истрёпанный клочок бумаги, вырванный, кажется, из школьной тетради в клетку. Буквы на нём были выведены с нажимом, неровно, как пишет человек с окоченевшими пальцами или тот, кто давно не держал ручку: «Мне не хватает тебя».

Лёва держал в руках эту нелепую, трогательную находку и чувствовал, как внутри него борются два потока. Один – рациональный, взрослый, измученный: это чья-то шутка. Или чья-то потеря, и человек просто сунул её в первое попавшееся отверстие, пока бежал на поезд. Надпись? Да кто угодно мог написать. Ребёнок. Странный взрослый. Не его дело.

Второй поток был тише, но упрямее. Он исходил не из головы, а из кончиков пальцев, ощущавших ту самую, необъяснимую теплоту варежки в ледяном ящике. Из глаз, видевших абсолютную чистоту этой вещи среди пыли и паутины. Он шёл из самой глубины его реставраторской души, которая привыкла верить не в слова, а в подлинность материала, в историю, запечатлённую в фактуре. Эта варежка была подлинной в своём послании. Она не пахла временем. Она пахла снегом, мокрой шерстью и чем-то ещё – сладковатым запахом детского мыла.

«Мне не хватает тебя».

Фраза висела в морозном воздухе, простая и страшная в своей прямоте. Кому не хватает? Того, кто потерял варежку? Или того, кому предназначалась вторая? Или... самой варежки?

Лёва судорожно сунул находку в карман куртки. Ему вдруг стало стыдно, как будто он подглядывал за чужой интимной сценой. Он быстро, почти бегом, покинул перрон и пошёл по улице назад, к дому Агафьи Степановны. Но уже через сто шагов замедлил ход. Рука в кармане сжимала мягкий комочек шерсти. Он не смог её выбросить.

Вернувшись в комнату, он первым делом бросил варежку на стол. Она лежала на грубом дереве, ярким красным пятном на фоне зелёных обоев, обличающим своим присутствием всю его тоскливую обстановку. Он сел на табурет и уставился на неё, как на оппонента.

– Ладно, – пробормотал он. – Ты здесь. И что?

Варежка молчала. Олень с кривым рогом смотрел в потолок.

Лёва попытался заняться делом – распаковал рюкзак. Книги, блокноты, папка с документами, скрученные в трубку старые этюды (он так и не развернул их), набор простых карандашей. Всё это он раскладывал по столу, на полку, старательно не глядя на красное пятно сбоку. Но оно притягивало взгляд, как магнитом.

Он взял варежку снова. Рассмотрел шов – аккуратный, машинный, чуть растянутый на кончиках пальцев. Значит, её носили. Вышивка – немного кривоватая, явно домашняя работа. На внутренней стороне, у манжеты, чернильная метка, почти отстиравшаяся: «А.С.». Инициалы? «Алёнка С.»? Или «Артём С.»?

Он положил её обратно и отодвинулся. Это была потеря. Чужая, глубокая, эмоциональная потеря, материализованная в куске связанной шерсти. А он был реставратором. Его работа – возвращать ценность утраченному. Но он сам был сломан. Как сломанный инструмент может что-то починить?

Он провёл в комнате весь день, выходя только раз – чтобы сходить в крошечный магазинчик за хлебом и чаем. И каждый раз, проходя мимо стола, он встречался взглядом с оленем. К вечеру варежка перестала быть чужим предметом. Она стала собеседником. Немым, но настойчивым. Она спрашивала его: «Что ты сделаешь?»

А он не знал. Он не знал, что делать даже с собой.

Когда стемнело, он зажёл настольную лампу (абажур из зелёного стекла отбрасывал болезненный, аквариумный свет) и сел с блокнотом. Рука сама потянулась к карандашу. Он не рисовал варежку. Он начал выводить на бумаге абстрактные линии, тени, пытаясь поймать то чувство, которое она в нём вызвала. Холод ящика. Теплота шерсти. Острое, щемящее чувство чужой тоски, которое он, к своему удивлению, узнавал. Это была тоска по чему-то целому. По паре. По завершённости.

Он испортил несколько листов, скомкал их. Потом просто сидел, глядя на свои руки, лежащие на столе по обе стороны от красной варежки. Руки, которые больше не доверяли себе.

За окном окончательно стемнело. Где-то внизу Агафья Степановна закрыла кондитерскую – послышался звук щеколды. В комнате стало тихо, только часы на вокзале (если они ещё работали) били каждый час – звук доносился приглушённый, словно сквозь воду.

Лёва взял варежку, поднёс к лицу. Пахло. Всё так же – снегом, детством, потерей.

– Хорошо, – тихо сказал он в тишину комнаты. – Допустим, это не случайность. Допустим, это... послание. Но мне-то что делать? Я не детектив. Я не святой. Я даже художник уже нет.

Он ждал ответа, как наивный ребёнок, ожидающий, что игрушка заговорит. Но говорила только тишина. И в этой тишине вдруг отчётливо вспомнились слова с клочка бумаги: «Мне не хватает тебя».

Это было не просто сообщение. Это была просьба.

Он аккуратно положил варежку на полку, рядом с нераспакованными этюдами. Пусть полежит. Утро вечера мудренее.

Ложась спать, он ещё раз взглянул на полку. В темноте красный цвет был не виден, варежка была просто тёмным силуэтом. Но он знал, что она там. И странным образом это знание не беспокоило, а скорее... давало какую-то неясную точку опоры. В его мире, рассыпавшемся в прах, появился крошечный, шерстяной, тёплый артефакт чужой, но настоящей жизни.

Перед тем как сомкнуть глаза, он подумал о будке. Она стоит сейчас там, на перроне, тёмная и пустая. Или не пустая? Ждёт ли она чего-то? Ответа? Или следующего послания?

Он отогнал эти мысли. Но они вернулись к нему во снах. На этот раз он не видел серой пыли. Ему снилась бесконечная железная дорога, уходящая в туман, и на всём её протяжении, на каждой шпале, лежала ярко-красная варежка. И он шёл по ним, как по ступенькам, не зная, ведут ли они куда-то или просто в никуда.

Глава 3. Возвращение тетради

Дни начали сливаться в однообразную, влажную полосу. После случая с варежкой Лёва не решался подойти к будке вновь. Он бродил по окрестностям Станции Маруся: доходил до сумрачного ельника за посёлком, где земля была усыпана рыжей хвоей и молчаливыми белыми грибами-поганками; выходил к заросшему камышом пруду, на котором уже стояла первая, тонкая как стекло, плёнка льда. Он пытался зарисовать что-то в блокнот – коряги, облака, профиль старого сарая, – но линии выходили мёртвыми, техничными, лишёнными любого чувства. Он бросал, скомкивал листы.

Варежка лежала на полке. Иногда он брал её в руки, разглядывал, потом клал обратно. Она была словно неразрешённый аккорд в тишине его существования.

Прошла неделя. Холода крепчали. Однажды утром Лёва проснулся оттого, что в комнате было необычайно светло. Он подошёл к окну: за ночь выпал первый настоящий снег. Не тот жалкий иней, а густой, пушистый, одеяльный снег, который завалил крыши, шапками навис на заборах и превратил унылый пейзаж в чёрно-белую гравюру. Перрон был застелен белым, идеальным холстом, на котором лишь две параллельные линии рельсов прорезали чёрные, строгие штрихи.

И на этом белом фоне синяя будка казалась уже не жалкой, а... значительной. Ярким пятном. Обращённым к нему.

Он быстро оделся, почти не думал. Сегодня он не мог не пойти. Это было сильнее его – как зуд старой раны. Он должен был проверить.

Снег хрустел под подошвами, оставляя первые в этом сезоне следы. Воздух был чистым и колючим, им можно было резать стекло. Будка стояла, припорошенная снегом на крыше и на карнизе окошка, словно в новом, зимнем уборе. Щель для писем была тёмной щелью на фоне синей краски.

Сердце Лёвы забилось глухо и тяжело. Он подошёл медленно, стараясь не скрипеть снегом. Остановился в метре, всматриваясь в тёмный прямоугольник. Что-то было. Не красный цвет варежки. Что-то тёмное, прямоугольное.

Сделав последний шаг, он заглянул внутрь.

В ящике лежала тетрадь.

Не новая, не купленная в здешнем магазинчике. Старая, в потёртом картонном переплёте тёмно-синего цвета, с уголками, затертыми до белизны. Тетрадь, которую он узнал мгновенно, с первого взгляда, как узнают собственное отражение в зеркале, даже если не смотрели в него годами.

У него перехватило дыхание. В глазах потемнело. Он схватился за косяк будки, чтобы не упасть.

Это было невозможно. Абсолютно, физически невозможно.

Это была *его* тетрадь для набросков. Та самая, которую он в ярости и отчаянии вырвал из папки и швырнул в парковый пруд в тот самый день, год назад, когда всё рухнуло. Он видел, как она, раскрывшись, на мгновение плавала, как белая чайка, а потом тяжёлые листы впитали воду, и она пошла ко дну. Он *видел* это. Он стоял и смотрел, как она тонет, и это было ритуальным погребением его старой жизни.

А теперь она лежала здесь. На глухой станции. В заброшенной почтовой будке. Чистая. Сухая.

Лёва выхватил её из ящика, словно боявшись, что она исчезнет. Тетрадь была тяжёлой, плотной. Он лихорадочно раскрыл её. Бумага – да, та самая, плотная, зернистая, для акварели. На первой странице...

На первой странице был его же рисунок. Этюд старой черепичной крыши где-то в Праге. Его любимая работа, начало той самой роковой серии. А поверх рисунка – жирный, яростный крест, который он начертал чёрной тушью, когда решал, что уничтожит всё. Крест, который процарапал бумагу, оставив рваные борозды.

Но сейчас крест был... стёрт.

Нет, не стёрт ластиком – бумага не была повреждена новым трением. Было ощущение, что само *намерение* креста, сама ярость, вложенная в него, – исчезли. Чёрные линии стали бледно-серыми, призрачными, как тень от давно убранного предмета. Они не портили рисунок. Они просто были частью истории, но больше не главной её темой. Рисунок, чистый и ясный, смотрел на него из-под этого призрачного шрама.

Лёва зарылся лицом в раскрытую тетрадь, вдыхая запах. Он ждал запаха плесени, гнилой воды, тины. Но нет. Пахло бумагой. Старой, добротной бумагой. И едва уловимо – графитом, сандалом от карандашей и тем особенным, кисловатым запахом акварельных красок, который никогда не выветривается.

Он перелистнул страницу. Дальше были другие его работы: зарисовки людей в метро, набросок спящей кошки, эскиз интерьера мастерской. Всё на месте. Все его прежние жизни. И нигде – ни следа воды, ни размытий, ни пятен.

Он стоял посреди белого, безмолвного перрона, прижимая к груди невозможное, и мир вокруг него потерял всякую устойчивость. Все рациональные объяснения рассыпались в прах. Дети? Шутка? Галлюцинация? Нет. Это была *материальная реальность*. Тяжёлая, осязаемая, пахнущая. Его собственная, давно уничтоженная тетрадь.

Тогда пришла волна гнева. Острога, животного.

Он поднял голову и закричал в сторону будки, в сторону спящего посёлка, в сторону всего абсурда происходящего:

– Кто?! Кто это сделал?!

Эхо проглотил снег. Никто не ответил. Будка молчала, безразличная к его крику. Она просто стояла.

– Что тебе от меня нужно?! – прошипел он уже тише, сдавленно, чувствуя, как слёзы – первые за очень долгое время – подступают к горлу от беспомощности и ярости. – Я сдался! Ты понимаешь? Я конченный человек! Зачем ты это делаешь?

Он повертелся на месте, как раненый зверь, не зная, куда себя деть. Потом, всё так же сжимая тетрадь, почти побежал обратно, в свою комнату. Запыхавшись, влетел внутрь, захлопнул дверь, прислонился к ней спиной, словно преследуемый.

Только здесь, в замкнутом пространстве, он позволил себе опуститься на пол. Он сидел, обхватив колени, а тетрадь лежала перед ним на скрипучих досках. Теперь он разглядывал её не как чудо, а как улику. Может, это не *та самая*? Может, у него была вторая такая же? Нет, он помнил каждую царапину на обложке, помнил, где оторвался кусочек картона у корешка после того, как уронил её с мольберта. Это была она.

Он взял её снова, начал листать медленнее, изучая. И на одной из последних страниц, почти в самом конце, нашёл то, чего раньше там не было. Вернее, не «чего» – там не было нового рисунка или записи. Там был *пропуск*. Несколько листов были аккуратно вырезаны острым ножом, оставляя ровные края. Вырезаны именно в том месте, где он начинал делать первые эскизы к той самой, последней, проклятой работе. Той, что привела его сюда.

Будка вернула ему его прошлое, но... отредактированное. Очищенное от самой разрушительной ярости и – что ещё важнее – от источника его падения. Она дала ему назад его умение, его видение, но вырезала опухоль.

Лёва сидел на полу до тех пор, пока холод от досок не проник через джинсы и не заставил его вздрогнуть. Он поднялся, отнёс тетрадь на стол и сел перед ней. Варезка на полке смот-

рела на него одним стеклянным глазом оленя. Теперь они были втроём: он, варежка и тетрадь. Полноценная компания отчаяния.

Он провёл пальцами по прозрачному кресту на первом рисунке. Что он должен был чувствовать? Благодарность? Ужас? Всё смешалось в один густой, непроглядный ком.

И тут он заметил на столе рядом с тетрадью то, что не клал туда сам. Маленький, остро отточенный графитный карандаш. Не его. Его карандаши лежали в коробке. Этот был один, тёмно-серый, с нестираемой надписью «Конструктор». Такие были в его детстве. Он взял его. Дерево было тёплым.

И тогда он понял. Это был вопрос. Не будка задавала его. Это *тетрадь* задавала вопрос. Или та часть его самого, которая ещё не умерла.

«Ты получил назад то, что уничтожил. Что ты теперь с этим сделаешь?»

Просто хранить её на полке, как варежку? Нет. Это было бы новым предательством. Более циничным, чем то первое.

Лёва открыл тетрадь на чистой странице – одной из тех, что шли после вырезанных. Белый лист смотрел на него с немым ожиданием. Он замер с карандашом в руке. Рука не дрожала. Она была холодной и чужой. Он боялся прикоснуться к бумаге. Боялся, что если положит хоть одну линию, она окажется пустой, мёртвой, как все его попытки последнего года.

Но нужно было положить *что-то*. Не рисунок. Ответ.

Он закрыл глаза, пытаясь поймать то, что бушевало у него внутри. Не гнев. Не тоску. Что-то другое. Ощущение от будки. Холод дерева и странное, внимательное присутствие. Белый свет снега сегодня утром. Тихое шипение самовара внизу, у Агафьи Степановны. Острое чувство потери, исходящее от варежки. И тёплый, невозможный вес тетради в руках.

Он открыл глаза и начал рисовать. Не предмет. Чувство.

Сначала он положил на бумагу широкую, размашистую тень – холодную, синюю, почти чёрную. Это был его страх, его отчаяние, его желание исчезнуть. Потом, в центре этой тени, он начал выводить свет. Не жёлтый, не яркий. Свет был белым, как снег, и он не рассеивал тьму, а *прорастал* сквозь неё, тонкими, ломкими лучами, похожими на трещины на льду. И в центре этого светового пятна он нарисовал не предмет, а символ: маленькую, простую, но твёрдую точку-кружок. Как ядро. Как семя. Как тот самый гвоздь, на котором всё держится.

Он не подписывал. Не ставил дату. Он просто нарисовал то, что чувствовал в этот момент: холод, пронизанный хрупким, но упрямым светом, и точку отсчёта внутри.

Когда он закончил, он откинулся на стуле. Рука болела, будто он таскал камни. Он посмотрел на рисунок. Это не было произведением искусства. Это была картография его души в данный момент. Честная и потому – живая.

Что теперь? Правила, казалось, диктовались сами собой. Будка дала – нужно отдать. Не тетрадь. Ответ.

Он аккуратно вырвал лист из тетради. Сложил его пополам, потом ещё раз. Получился плотный прямоугольник. Он взял его и вышел из комнаты.

Уже смеркалось. Фонари на улице зажглись, отбрасывая на снег жёлтые, расплывчатые круги. Он шёл к будке, уже не скрываясь, с твёрдым шагом. Подошёл, засунул руку в ящик. Он был пуст. Значит, тетрадь была предназначена именно ему.

Он положил свой сложенный рисунок внутрь, прямо на деревянную полочку.

– Вот, – прошептал он. – Мой ответ. Я не знаю, кому. Может, тебе. Может, ей. Может, самому себе. Я больше ничего не могу.

Он вынул руку и постоял ещё мгновение, глядя на щель, в которую только что исчезло его чувство. Ничего не произошло. Никакого волшебного света, никакого стука. Только снег начал снова тихо падать, крупными, неторопливыми хлопьями, засыпая его следы.

Лёва повернулся и пошёл домой. На душе было странно. Не легче. Но появилось что-то вроде... определённости. Он сделал шаг. Куда – не знал. Но шаг.

Вернувшись в комнату, он сел за стол и открыл тетрадь на том самом первом рисунке с призрачным крестом. Он взял ластик-клячку, тот самый мягкий, который бережно поднимает графит с бумаги, не травмируя её. И начал медленно, миллиметр за миллиметром, убирать остатки того креста. Не потому, что хотел стереть прошлое. А потому, что хотел вернуть прошлому право быть видимым. Целиком. Со всеми его ошибками и красотами.

Работа была кропотливой, почти медитативной. Он делал её так, как делал когда-то реставрацию, – с бесконечным терпением и уважением к материалу.

А в синей будке на перроне, в темноте ящика, его рисунок лежал один. Он был голосом, криком в пустоту. И пустота, как оказалось, умела отвечать. Просто ответу требовалось время – ровно до рассвета.

Глава 4. Курьер принимает вызов

Ту ночь Лёва почти не спал. После долгой, кропотливой работы ластиком, когда последние следы креста растворились в крошевах графитовой пыли, он сидел и смотрел на очищенный рисунок. Черепичные крыши Праги снова дышали спокойной геометрией, игрой света и тени. Они были прекрасны. И они были чужими. Как фотография из жизни другого человека.

Он ждал. Чего – сам не знал. Что будка стукнет в ответ? Что рисунок материализуется обратно на столе с какой-нибудь насмешливой надписью? Но в комнате стояла привычная, давящая тишина, нарушаемая только редкими скрипами стареющего дома. Под утро, когда за окном посветлело до состояния свинцового стекла, он, наконец, рухнул на кровать в одежде и провалился в тяжёлый, безсновидный сон.

Его разбудил стук в дверь. Негромкий, но настойчивый.

– Кто?

– Кофе, – донёсся из-за двери низкий голос Агафьи Степановны.

Лёва, спутанный сном, открыл. На пороге стояла хозяйка, держа в руках не чашку, а целый эмалированный чайник с дымящимся содержимым и грубую глиняную кружку на блюде.

– На, – коротко сказала она, просунув ему этот набор в руки. – Выглядишь как после драки с духом печки.

И, не дожидаясь ответа, развернулась и зашуршала вниз по лестнице.

Лёва поставил чайник на стол, сел и налил себе кофе. Напиток был крепким, горьким, без сахара, но с какой-то пряной, древесной ноткой – кардамоном, что ли? Он обжигал губы, но странным образом прояснял сознание. Он пил и смотрел на тетрадь, на варежку, на свой вчерашний рисунок, лежащий отдельно. Мир не перевернулся. Всё было на своих местах. Может, и правда – игра воображения, цепь совпадений? Может, тетрадь кто-то выловил из пруда и годами хранил, а потом, узнав, что он здесь, подбросил? Бред. Но не более бредовый, чем альтернатива.

Кофе допит, нужно было двигаться. Сидеть в четырёх стенах с призраками было невыносимо. Он оделся, вышел. Утро было морозным и ясным, снег сверкал под низким солнцем, слепил глаза. Он не хотел идти к будке. Совсем. Но ноги, предательски, понесли его туда сами, будто на невидимом поводке.

Он шёл медленно, растягивая момент. Подойдя, несколько секунд просто смотрел на синий ящик. Щель была тёмной. Ничего не торчало. Облегчение, смешанное с глупым разочарованием, толкнуло его вперёд. Он заглянул.

В ящике что-то было.

Не его рисунок. Чужой предмет.

Лёва замер, чувствуя, как холодный комок подступает к горлу. Он не хотел этого. Он не просил продолжения.

Но рука уже тянулась внутрь. На ощупь это было твёрдое, холодное, с элементами ткани. Он вытащил.

Кукла.

Старая, целлулоидная кукла-пупс, в когда-то нарядном, а теперь потёртом и выцветшем платье в розовый горошек. У неё была странная причёска – жёлтые, жёсткие волосы, собранные в нетугие хвостики. Лицо с наивной, фабричной улыбкой. И один глаз.

Правый глаз был на месте – голубой, стеклянный, с чёрным зрачком, смотрящим в вечность с глуповатым восторгом. Левой глазницы не было вовсе. На её месте зияло неровное, чуть запавшее отверстие, обнажающее пустоту внутри головы. Края дыры были не острыми, а словно оплавленными, как будто глаз не выпал, а... испарился.

К кукле была привязана та же бечёвка с запиской. Но почерк здесь был другим – не детским и не угловатым, как на варёжке, а аккуратным, почти каллиграфическим, женским. И слова были другие: «Она видела то, чего я не могу забыть. Помоги ей не видеть».

И ниже, через строку, адрес, выведенный уже иначе, простыми печатными буквами: «Ул. Вокзальная, 3. Для Алёнки».

Лёва стоял, держа в руках это кривое, одноглазое существо, и в нём закипала ярость. Чистая, беспримесная злость.

– Нет, – прошипел он, обращаясь к будке. – Нет, нет и нет. Я не буду. Ты что, не понимаешь? Я не социальный работник! Я не психолог! Я не... не связной между вашими душевными ранами!

Он потряс куклой в воздухе, будто пытаясь стряхнуть с неё это поручение.

– Я положил тебе свой рисунок! Это был ответ! Закрыто! Конец истории!

Будка молчала. Она просто стояла, безразличная к его вспышке. Солнце играло в инее на её крыше. Где-то на станции прозвенел колокол, извещающий о подходе редкой утренней электрички. Мир жил своей жизнью, а он стоял здесь, с обезумевшей куклой в руках, и кричал на кусок дерева.

Ярость выдохлась так же быстро, как и возникла, оставив после себя тяжёлую, свинцовую усталость. Он опустил руку. Кукла безвольно болталась, её единственный глаз смотрел куда-то в сторону рельсов.

«Ул. Вокзальная, 3. Для Алёнки».

Это было в двух шагах. Буквально соседний дом. Он не мог проигнорировать. Не из-за будки. Из-за адреса, который теперь висел в его сознании, как заноза. «Для Алёнки». Девочка. Ей нужна эта кукла? Или нужно, чтобы она «не видела»?

Лёва глубоко вздохнул, сунул куклу в глубокий карман куртки, где та издала лёгкий, сухой стук целлулоида о ткань, и пошёл. Не домой. К соседнему дому.

Дом №3 был таким же, как и все, но с одним отличием: на крыльце, несмотря на мороз, сидела девочка. Лет семи-восьми. Она была закутана в огромный, не по размеру, ватный плащ, из которого выглядывало только бледное личико с огромными серыми, совершенно бездонными глазами. Она не играла, не двигалась. Просто сидела на верхней ступеньке и смотрела на улицу. Взгляд её был не рассеянным, а очень сосредоточенным, но устремлённым не на предметы, а как будто *сквозь* них, куда-то вдаль, за горизонт.

Лёва замедлил шаг. Он чувствовал себя незванным гостем, нарушителем чужого покоя. Девочка повернула голову и уставилась на него. Её взгляд был на удивление взрослым, оценивающим. Не испуганным, не любопытным. Констатирующим: вот идёт человек.

– Привет, – неуверенно сказал Лёва, останавливаясь у калитки. – Ты... Алёнка?

Девочка кивнула, один раз, медленно.

– Меня... мне дали кое-что для тебя, – он был ужасно неуклюж.

В этот момент дверь дома открылась, и на пороге появилась женщина. Та самая, чьим почерком, как теперь понял Лёва, была написана записка. Хрупкая, с лицом, на котором усталость легла раньше, чем должны были появиться первые морщины. Она взглянула на Лёву с немым вопросом, потом на дочь.

– Алёна, иди внутрь, замёрзнешь.

Девочка не шелохнулась. Она смотрела теперь на карман Лёвиной куртки, будто чувствовала, что там.

– Я... извините, – начал Лёва, обращаясь к женщине. – Меня зовут Лёва. Я живу там, – он мотнул головой в сторону дома Агафьи Степановны. – И мне... попала в руки вещь. Кажется, для вашей дочери.

Женщина – Вера – нахмурилась.

– Какая вещь? Мы ничего не теряли.

Лёва вытащил куклу. В свете дня она выглядела ещё более жалкой и пугающей со своей пустой глазницей. У Веры перехватило дыхание. Она сделала шаг вперёд, потом резко остановилась, будто наткнувшись на невидимую стену.

– Откуда у вас это? – спросила она тихо, и в её голосе прозвучала не тревога, а что-то вроде страха.

– Её... положили в старую почтовую будку, – честно сказал Лёва. – С запиской. «Для Алёнки».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.